

Ирина Муравьева

ОТТЕПЕЛЬ

Льдинкою растаю на губах

*по мотивам киносценария Алены Званцовой,
Дмитрия Константинова, Валерия Тодоровского*



Ирина Муравьева

**Оттепель. Льдинкою
растаю на губах**

«ЭКСМО»

2014

Муравьева И. Л.

Оттепель. Льдинкою растаю на губах / И. Л. Муравьева —
«Эксмо», 2014

Москва, 1961 год. В руки Виктору Хрусталеву, талантливому оператору с «Мосфильма», попадает сценарий его погибшего друга. Виктор уверен, что это шедевр, который обязательно должны увидеть зрители. Вместе с молодым режиссером Егором Мячиным они принимаются за работу. Но ведь это кино! Здесь нельзя без порыва, страсти и... любви. Волей судьбы Виктор и Егор влюбляются в одну и ту же девушку, милую и робкую Марьяну.

© Муравьева И. Л., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	20
Глава 5	23
Глава 6	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Ирина Муравьева

Оттепель. Льдинкою растаю на губах

Выражаем благодарность кинокомпании ООО «Мармот-Фильм» и лично Валерию Тодоровскому и Дмитрию Давиденко за предоставленный сценарий и кадры из телесериала «Оттепель»

© Муравьева И., 2014

© ООО «Мармот-Фильм», сценарий, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

Глава 1

Лариса начала плакать ровно в полночь. Он случайно посмотрел на часы – как раз в эту минуту она начала лить слезы. Сейчас почти пять, а она все рыдает. Ему нелегко давались разрывы с женщинами, потому что он не переносил слез. А женщины плакали. Все, кроме Инги. Но Инга – не женщина, Инга – жена с железным характером. Они расстались восемь лет назад, но ему до сих пор становилось обидно и гадко, когда их развод вспоминался в подробностях. И то, как хотелось ей мстить, мстить и мстить. За эту измену, за этого цуцика. Спала с ним в квартире какого-то парня, который работал не то в Занзибаре, не то в Сингапуре.

– Послушай, а ты разве не изменял? – спросила она, когда все это выплыло.

Да, он изменял. Но ведь он же мужчина. А все мужики полигамны. Доказано. Сейчас, правда, речь не об Инге. Об этой совсем посторонней, чужой ему женщине, которая плачет почти пять часов. И что-то она говорит, говорит... Зачем говорить, когда все решено? Хрусталева давно определил для себя те черты, которые он не выносил в женщинах, как только у него пропадало физическое желание. Он не выносил настойчивости, глупых разговоров, пошлой философии по поводу жизни и чтения стихов. Сейчас ему, кажется, придется заново пройти именно через то, от чего его сразу начинает мутить.

– Послушай! – шелестела она сквозь слезы. – Хочешь, я расскажу тебе одну историю? Одну очень забавную и простую историю? Не хочешь? Но ты все же послушай: жила-была одна девочка, и все думали, что она очень счастлива. И знаешь почему?

– Нет, – сказал он и закурил. – Не знаю.

– Не знаешь? – вскрикнула она. – Все думали, что она счастлива, потому что во всем дворе только у нее были красные туфельки. Да! Красные туфельки в черный горошек!

Он встал и подошел к зеркалу. В зеркале он увидел себя и постороннюю женщину, которая, плача, размазывала тушь по лицу.

– Я вот думаю, – опять заговорила она, – вот если бы я была обезьянкой, маленькой смешной обезьянкой, неужели ты бы бросил меня? Ведь разве можно взять и бросить привязавшуюся к тебе обезьянку?

– У меня никогда не было обезьян, – пробормотал он, стряхивая пепел.

Она вдруг схватила со стола будильник и запустила ему в голову. Он увернулся, и будильник с визгом и стоном шмякнулся о стену. Хрусталева направился к двери, но Лариса неожиданно бросилась к его ногам, обхватила их и зарыдала так громко, что ему стало не по себе. Ну, что теперь делать с ней? Это истерика. Не «Скорую» же вызывать, черт возьми!

– Я тебя очень прошу! Я прошу тебя! Ну, не бросай меня! Пожалуйста! Ты только пойми, я умру без тебя! Я сразу умру!

– Перестань, а? Ну, хватит.

– Обещаю тебе, что не оставлю никаких предсмертных записок! Ни строчечки! Ты будешь абсолютно чист! Ты будешь чист, а меня не будет. Ведь это же именно то, что ты хочешь!

– Лариса, прости. Я тебя не люблю.

Она побледнела так сильно, что Хрусталева чуть было не стало жаль ее, но он подавил эту жалость. Пусть только уйдет поскорее. Уйдет. Она широко раскрыла глаза и так, с широко раскрытыми глазами, разжала руки, отпустила его колени и медленно встала с пола.

– Ты прав, – пробормотала она, не спуская с него этих широко раскрытых глаз. – Ты прав. Это унижительно. Все, что я говорю тебе, все, что я делаю. Это унижительно. Ты прости меня.

– «Унижительно» здесь ни при чем. Нам было хорошо вместе. А сейчас... сейчас настало другое время.

– А, да! Да, конечно! – вскрикнула она и тут же зажала рот ладонью, перешла на шепот. – Тогда ты свари мне, пожалуйста, кофе. В самый последний раз. Можешь ты сварить мне кофе?

Она делает все, чтобы протянуть время. Только бы не уходить.

– Хорошо. Я сварю тебе кофе.

– Свари. И дай мне сигарету.

Чувствуя, как внутри поднимается мелкая холодная дрожь, он молча достал из письменного стола новую пачку и протянул ей. Она закурила и, отвернувшись от него, так что теперь он видел только ее длинную шею и часть очень бледной щеки, сильно, по-мужски затянута, пристально глядя в окно. Пока он возился с кофе, она молчала, и ему становится невмоготу от этого молчания и звука ее дыхания, в котором опять угадывались подступающие слезы.

– Тебе в большую чашку? – спросил он, и тут она опять начала плакать.

Она уже не рыдала, а плакала молча, и слезы текли по ее лицу так же обильно и равнодушно, как струи дождя стекают по поверхности дерева. Он старался не смотреть на нее и аккуратно переливал кофе из джезвы в чашку. Несколько капель упали на стол, и он сердито вытер их краем ладони.

– «По улице моей который год звучат шаги...» – зашептала она, но он перебил ее:

– Умоляю тебя, только не стихи!

– Не хочешь стихов? Почему? Ведь красиво.

«Хочу одного, – думал он. – Уходи. Возьми свою сумочку и убирайся».

– А хочешь, – дымчатые глаза ее вдруг высохли и заблестели, – хочешь, я сейчас разденусь и голой выйду на улицу?

– Зачем? – усмехнулся он. – Не горячись. Ведь скоро трамваи пойдут. Неудобно.

Она стремительно расстегнула блузку, сняла лифчик, трусики, высоко заколола волосы, словно и они показались ей частью ненужной одежды, схватила сигаретную пачку, спички, и, гордо пройдя мимо него, открыла входную дверь и захлопнула ее за собой. Ушла, наконец. Но, конечно, вернется. Хотя, может быть, заберут в отделение. Дождешься тут! Спит еще наша милиция. И видит красивые добрые сны. Не справившись с собой, он все-таки выглянул в окно. Она спокойно сидела на лавочке, абсолютно голая, скульптурно-изящная, и курила. Солнце недоверчиво смотрело на голую женщину и, скользя по разным частям ее тела, пыталось убедиться, что она – настоящая. Из соседнего подъезда вышел включенный, видимо, только что проснувшийся парень в расстегнутой летней куртке и парусиновых туфлях. Он сделал несколько шагов и остановился как вкопанный. Нежное белокожее видение с ярко-розовыми сосками и темным внизу живота сидело, дымя сигаретой, на лавочке. Парень сделал шаг и снова остановился. Ясно было, что ему хочется то ли заорать, то ли спрятаться обратно в подъезд, то ли рискнуть и подойти поближе, дотронуться до белокожего чуда. Он прошел мимо Ларисы, но она не обратила на него никакого внимания, словно и впрямь не заметила. Семена своими парусиновыми туфлями и став меньше ростом, парень почти побежал к трамвайной остановке, но несколько раз оглянулся на голую, и страх на простом и курносом лице сменился, в конце концов, восхищением.

Она докурила, погасила сигарету о спинку лавочки и отбросила окурочек. Вынула шпильку, и волосы, вспыхнув от солнца, закрыли ей шею. Хрусталева отошел от окна. Сейчас она вернется сюда, и вся эта мука начнется сначала. Ну да. Так и есть. Она уже в кухне и даже не плачет.

– А ты и не верил? – наигранно-весело заговорила она. – Сознайся, что не верил! Иначе ты бы ведь остановил меня? Что молчишь? Неужели не остановил бы? Ну ладно, неважно! А я была бы отличной собакой. Если бы ты только захотел, я была бы для тебя самой умной, самой верной, самой тихой в мире собакой. Не хочешь? Ты даже и этого не хочешь? Ты, наверное, хочешь, чтобы я оделась? Хорошо. С удовольствием. Вот, видишь, блузочку я уже застегнула. А где мои трусики? Вот мои трусики. А ты все молчишь? Тогда я расскажу тебе, как я бы ждала тебя, если бы ты меня не бросил. Хрусталева! Я бы тебя ждала! Знаешь, что это

такое, когда кто-нибудь кого-нибудь ждет? Вот ты заоченел, потому что на улице зима, ты продрог, тебя измучили на работе, но ты приходишь домой, а дома тепло и вкусно пахнет... Пахнет твоим домом. Где я тебя жду. И от меня тоже пахнет твоим домом. Мной пахнет. Ты ведь сказал однажды, что тебе нравится мой запах...

– Лариса, – он сморщился и перебил: – Вот кофе. Ты с сахаром будешь?

Она захохотала и замахала на него руками.

– Что я такого сказал?

– Ох, что ты сказал! – Она задохнулась от хохота. – Ты спросил, с сахаром ли я пью кофе или без сахара? Миленький мой, родной мой! Мы были вместе четыре месяца! Мы спали с тобой четыре месяца! Ты знаешь мое тело лучше, чем я сама его знаю! И теперь ты спрашиваешь, с сахаром или без сахара я пью этот чертов кофе! Да я же убью тебя, сволочь! Возьму и убью!

Он не успел остановить ее. Гибким кошачьим движением, вся выгнувшись, она прыгнула на него и вцепилась обеими руками в его волосы. Хрусталеv заломил ей руки за спину и молча поволок ее к двери.

– Я к ведьме пойду! Слышишь? К ведьме! Я знаю одну! Все к ней ходят! Она тебя импотентом сделает! Ха-ха-ха! Представляешь, Хрусталеv? Вокруг столько женщин, а ты импотент!

Он открыл дверь и вытолкнул ее на лестницу. Сейчас она начнет ломиться обратно. Нужно включить радио, чтобы не слышать ее воплей. Она начала ломиться обратно прежде, чем он успел сообразить, что вокруг люди, и все они сейчас проснутся от ее криков, и никакое радио не поможет.

– Открой мне! Открой! – умоляла она. – Открой, я прошу! Ну, не босиком же мне идти! Я забыла туфли!

Туфли она действительно забыла. Вот они, ее туфли. Смирно стоят у тахты, как побитые, и ждут ее. Сумочка рядом.

– Любимый мой! Милый! Открой! На секунду! Ведь я же люблю тебя! Слышишь? Люблю!

От этого слова у него всегда начинало стучать в правом виске. Он медленно потер там, где стучало, и поднял с пола туфли.

– Я не успела сказать тебе самого главного! Я беременна! Витя! Я жду ребенка! Нашего ребенка!

Все врет. Не ждет она никакого ребенка, месячные только закончились.

– Врешь, – сказал он в сторону двери.

– Да, вру! Но тогда объясни мне, в чем, где и когда я ошиблась? Должна же быть все же причина! Ты слышишь?

Он открыл дверь и протянул ей туфли и сумочку.

– Ах так! Даже разговаривать со мной не хочешь! Два слова! Только объяснить мне, только чтобы я поняла...

Она изо всей силы размахнулась сумочкой, но он увернулся, как тогда, от будильника, оттолкнул ее и захлопнул дверь изнутри. Она продолжала кричать, и к ее голосу присоединились другие голоса, – значит, она умудрилась разбудить соседей не только на этом этаже, но и наверху, и внизу, и сейчас все это перерастет в настоящий скандал, ему будут звонить милиционеры, и точно придется открыть. Он налил из бутылки вина прямо в чашку, опять закурил и залпом выпил. Налил еще. Лариса кричит. Все кричат. Ну, вот. Так и знал: уже воеет сирена.

У милиционера, который первым переступил порог, было хмурое небритое лицо, второй – совсем мальчишка. Хмурый приложил руку к козырьку.

– Сержант Погодин. Почему вы жену из квартиры выгнали?

– Она мне не жена.

– Все равно. Паспорт предъявите, пожалуйста.

Изучение паспорта заняло минуты три, не меньше.

– Жена – не жена, а все-таки по-человечески надо, – без особой уверенности сказал, наконец, милиционер. – Вы какие примеры подаете...

Он оглянулся на своего напарника. Детское лицо у того ярко порозовело.

– Пройдемте, гражданка, – сказал хмурый милиционер Ларисе. – С утра весь подъезд взбаламутили. Так тоже нельзя.

Она посмотрела на Хрусталева. Теперь он знал, что видит ее в последний раз. Она уйдет. Уйдет и никогда не вернется. Он победил, но в этой победе было что-то постыдное. Да и вся его жизнь после развода была постыдной. Он знакомился с женщинами где угодно: в Доме кино, в поликлинике, в лифте. Квартира, которую он снимал, была в двух шагах от «Мосфильма». Женщины подчинялись ему, словно он их гипнотизировал. И первые две-три недели все было хорошо. А может быть, просто казалось. Хрусталева честно пытался не то чтобы полюбить, – он знал, что полюбить не удастся, – но хотя бы привязаться. Даже и этого не получалось. Хотя все они были красивыми или очень красивыми. Лариса была, например, очень красивой и сложена как богиня. Он во всех подробностях помнил, как они познакомились. В гостях у Юматова. Муза, жена Жоры Юматова, была помешана на вечеринках. Стол у них всегда ломился. К приходу гостей домработница пекла и парила, а черной икры, балыка, сервелата было столько, словно они собирались принять у себя целую армию. Лариса пришла с мужем. Хрусталева обратил внимание на ее светло-серые глаза, обведенные усталыми золотистыми тенями, словно она не спала несколько ночей подряд. Губы ее были ярко-красными и вкусно блестели. Разговаривая с кем-то из гостей, она нервно покусывала их, и, когда было пора садиться за стол, на этих красивых и полных губах почти не осталось краски. От этого ее усталые глаза только выиграли. Хрусталева отодвинул какую-то дамочку и сел рядом с Ларисой.

– Давайте я буду за вами ухаживать? – сказал Хрусталева.

– Давайте. – Она усмехнулась.

Он налил ей водки, но Лариса отрицательно покачала головой.

– Я предпочитаю коньяк.

– Тогда пригубите, – сказал Хрусталева.

– Зачем? – Она подняла светло-серые брови.

– Потом объясню.

Она отпила два глотка и поставила рюмку. Хрусталева залпом опрокинул в себя остальное.

– Теперь я знаю все ваши мысли, – сказал он ей тихо.

– Откуда?

Он прижал свое колено к ее. Если она отодвинется, всегда можно будет сослаться на тесноту и извиниться. Она не отодвинулась. Тогда он просунул руку под скатерть, нащупал ее ногу в нейлоновом скользком чулке и быстро положил эту ногу на свою, зажал ее крепко коленями. Она сидела – невозмутимая, спокойная, потягивала коньяк.

– Ну, как? – спросил Хрусталева. – Угадал ваши мысли?

Она кивнула. Начавшаяся зима показалась ему не такой тоскливой, темной и холодной, потому что была Лариса. Она приезжала на такси и оставалась с ним до глубокого вечера. На вопрос о муже пожимала плечами. Один раз сказала:

– У нас параллельные жизни.

В конце апреля, когда Хрусталева начал потихоньку уставать от ее посещений, Лариса заговорила о разводе с мужем и браке с ним, Хрусталевым. Он попробовал отшутиться. На следующий день тема повторилась. Ей почему-то не приходило в голову, что он не только не думает о том, чтобы жениться вторично, но и просто-напросто не собирается связывать свою жизнь с ее жизнью. Тем более она не заподозрила, что одновременно с ней он время от времени встречался с другими женщинами, и ее роль в его жизни была настолько же ограничена, как

и роль этих женщин. В конце концов он не выдержал и вчера вечером объяснился с ней по-настоящему. И вот чем все это закончилось. Да, стыдно, но все-таки лучше, чем ложь.

Оставшись один, Хрусталеv с размаху бросился на тахту и зажмурился. Поспать еще? Голова трещит. Он посмотрел на часы. Будильник разбила. Вот дура. Нет, поспать не удастся. В десять нужно быть на «Мосфильме».

Глава 2

Он точно знал, что любит свою дочь и свою работу. Поэтому всякий раз, когда он видел дочь, у него начинало слегка пощипывать в носу от умиления, а всякий раз, когда он подъезжал к проходной «Мосфильма» и показывал пропуск, в груди что-то екало. Впрочем, об этом никто не должен был догадываться. Зачем? Все заняты собой, и это нормально.

Первым, кого он увидел, был любимец всей страны актер Гена Будник. Хрусталева не понимал этого франтоватого и уклончивого парня. С одной стороны, Будник определенно был не глуп, иногда даже забавен, как актер – не велик, конечно, но профессионал, и в то же время что-то в нем настораживало Хрусталева. Разбираться, что именно настораживало, и тратить время на Будника он не собирался. Живет рядом Будник, ну, и на здоровье. Раздражало только то, что Будник всегда был окружен поклонницами, и даже просто пройти рядом с ним по какому-нибудь самому тихому переулку – и то не удавалось: поклонницы выныривали словно из-под асфальта. Вот и сейчас: пестрая толпа девушек из массовки, наряжены какими-то поселянками, щеки нарумянены, глаза блестят. Окружили своего ненаглядного, который пытается пробиться сквозь их сарафаны и косы к своей темно-серой «Победе». Визжат, как весенние кошки.

– Товарищ Будник! Мы вас любим! Мы вас так любим! Вы даже и представить не можете!

– Могу, могу, – кисло кивал Будник, подписывая открытки со своим собственным портретом. – Но, девушки, милые, мне через десять минут нужно в Доме культуры быть! Пощадите! Опаздываю!

Поселянки заглушили его слова пороссячим визгом.

– Ой, девушки! – всполошился Будник. – Вы только посмотрите, кто приехал! Самый гениальный в мире оператор! Художник и гений! Виктор Хрусталева! Вот вам у кого нужно автографы просить! А не у меня! Такие гениальные операторы, как Хрусталева, – они на меня и внимания не обращают! Не пара я им!

– Да ладно тебе, – пробурчал Хрусталева. – Не верьте ему...

Ну, все: началось. В коридоре на Хрусталева налетела Регина Марковна. Со вчерашнего дня она потолстела еще больше. Скоро будет влезать только в костюм Масленицы – висит в костюмерной, огромный, тяжелый, к нему еще красный платок полагается.

– Витя! – застонала Регина Марковна. – Только ты мне можешь помочь! Больше никто! У нас режиссер Килькин, Витя, тронулся!

– А я-то при чем?

– Что значит: при чем? Ты бы хоть поинтересовался, что происходит. Витя! Он хочет кадр надвигающегося поезда знаешь как снимать? Не знаешь? Так знай! Он снизу его хочет снимать! Ты слышишь меня, Витя! Сни-и-и-и-зу!

– Ну, снизу так снизу. Ящик коньяка поставит – сниму.

У Регины Марковны приоткрылся рот. Хрусталева двинулся дальше и чуть не столкнулся лбами с осветителем Аркашей Сомовым, выходящим из уборной с таким видом, как будто его там пытали.

– Извини, Витя, руку не протягиваю: мокрая. Ну, как ты?

– Нормально. А ты?

– Я? Жуть, Витя, жуть! Тата про Нюсю узнала!

– А кто это: Нюся?

– Да есть тут одна, в костюмерной... Но дело не в Нюсе! Я тебе, Витя, одному могу все рассказать, как было...

Регина Марковна оттолкнула щуплого Сомова своим очень пышным и влажным плечом:

– Аркадий! Иди в жопу! У нас разговор здесь серьезный, не лезь!

– Я вам, Регина Марковна, – усмехнулся Хрусталеv, – уже ответил: ящик коньяка – и сниму вам поезд откуда хотите. Хоть из-под земли. Пусть ваш режиссер не волнуется. Ладно, я буду в «стекляшке».

Ему вдруг остро захотелось остаться одному. Почему в последнее время ему все время хочется остаться одному? И чтобы никто, ни одна живая душа не знала, где он. «Стекляшка» была, однако, не самым лучшим местом для уединения. Он сел за столик у окна. Ни один человек на «Мосфильме» не посмел бы назвать «стекляшку» забегаловкой. Дело не в меню и не в посуде – такой же простой, как везде. Дело в Гоше. Неважно, что он числится официантом. Числиться можно кем угодно. Но вы вот добейтесь того, чтобы числиться официантом, а выглядеть как дирижер. Нет, вы не добьетесь, а Гоша добился! И черная бабочка на его белой как снег, ослепительной, жесткой рубашке – тому подтверждение. Улыбается Гоша, кстати, далеко не всем. Но Хрусталеvu улыбнулся, и птичий, дирижерский нос его приветливо залоснился.

– Ну вот, к нам и Виктор пожаловал. Что пить будем, Виктор Сергеич?

– Пока ничего, Гоша. Кофе свари мне. Но только покрепче.

Он ждал, пока ему сварят кофе, и смотрел в окно. Какая пыльная листва в Москве. Полили бы все-таки. А лучше пошел бы сейчас сильный дождь. Сверкающий ливень, чтобы пузырилось. Хрусталеv любил дождь. Солнце всегда казалось ему слишком назойливым, оно как будто лезло в душу, а дождь успокаивал, в детстве особенно.

Надо будет заглянуть к Кривицкому, он, наверное, в павильоне. Люся снимает. Она хорошая баба, своя, боится только, чтобы ее не сковырнул какой-нибудь шибко «талантливый». Но ему она верит и знает, что Хрусталеv никому не перебегает дорогу.

Кривицкий был действительно в павильоне и снимал. Он сидел в кресле, а рядом с ним слегка дымилась полная окурков пепельница. В одной руке у Кривицкого был надкусанный бублик, в другой сигарета. Изредка он бросал сердитые взгляды на Люсю, как будто она была виновата в том, что ему приходится смотреть на эту бездарную дрянь. А Люся снимала бездарную дрянь, и узкое лицо ее со сдвинутыми на лоб большими очками казалось вполне безразличным. Сейчас вот снимали поющую барышню. Да, черт возьми: как ее? Кривицкий заглянул в бумажку, лежащую рядом с пепельницей. Оксаной зовут, Голубеевой. Откуда взялась она здесь, Голубеева? Кто ее пристраивает? И голос какой-то противный. Как будто ножом по стеклу. Хорошенькая. Ну и что? Ведь петь не умеет. И мужики эти в комбинезонах, подтанцовка эта, тоже никуда не годятся. Все нужно менять.

Оксана Голубеева была совсем недурна собою. Она изо всех сил старалась понравиться режиссеру с бубликом в одной руке и сигаретой в другой, потому что от этого режиссера зависела ее судьба. От него, с его бубликом и сигаретой, зависело сейчас, возьмут ли ее на эту роль, станет ли она великой актрисой, заблестят ли ее портреты на стенах домов – все на свете зависело от него, – а он был нахмуренным, не замечал ни нового платья в лиловых цветочках, ни челки, ни ярко накрашенных губ, которыми... Которыми – да! – и с восторгом, с восторгом, она бы его всего зацеловала – отдай он ей только заглавную роль! От этих мыслей голос Оксаны Голубеевой сорвался, и последние слова прозвучали скомканно. Кривицкий начал медленно подниматься со своего кресла. Она разрыдалась.

– Федор Андреич! Ведь это случайно! У меня в самом конце переход не получился! Можно я еще разочек попробую? Всего только разик?

Рыдая, она грациозно отставила ногу и встала так, чтобы перекрыть Кривицкому дорогу к выходу.

– Ну-ну-ну... Ну, что же так плакать? Как вас там? Оксана? Ну, что же так плакать, Оксаночка? И спели отлично. И все хорошо...

Она сделала судорожное движение, как будто сейчас упадет на колени. И он, растерявшийся, сделал шаг в сторону. Тут же подскочила проклятая ассистентка.

– Не задерживайте Федора Андреича! Он же вам сказал, что вы прекрасно пели! Сказал ведь? Так что теперь плакать?

– Вот именно! Я же сказал! Давайте следующую! Кто там у нас следующая? А ты, Люся, выйди пока, покури. Но только не больше чем десять минут.

Две нарядно одетые девушки, смиренно сидящие рядом на диванчике, встрепенулись и проводили поникшую Голубееву злорадными взглядами.

– Так-так, – забормотал Кривицкий, разглядывая девушек с таким видом, с которым владельцы крепостных балетов разглядывали своих артисток. – Так-так... Вас как зовут, милая? Девушка, к которой он обратился, залилась яркой вишневой краской.

– Я Галя. Галина Чиркова.

– Петь умеете?

– Конечно умею! Сценарий мне очень понравился.

– Ну, значит, попробуем. У тебя ко мне вопросы какие-то, Люся?

– Хотела вам что-то сказать...

– Хотела – скажи!

Весь «Мосфильм» знал, что когда у Кривицкого начинают раздуваться ноздри, разговор лучше не продолжать. Но Люсе Польшининой было наплевать на режиссерские ноздри.

– Время теряешь, Федя, – шепнула она в самое ухо Кривицкого. – Куда нам такую? Глазки крысиные, подбородок махонький. Мы с крупным планом замучаемся. Такую не загримируешь.

– Иди покури, я сказал! Все лезут ко мне, все мешают! Иди покури!

Про Люсю говорили, что она никогда не обижается. Это было правдой: она никогда не обижалась, потому что не умела этого и не любила. Обидеться, считала она, значит затаить что-то недоброе против человека, а ему об этом не сказать. А Люся всегда говорила. Ее прямота и привлекала, и немного отталкивала одновременно. Точно так же, как и привлекала, и отталкивала ее мешковатая внешность. Казалось бы, что уж там проще? Завей волосы, сделай высокую укладку, а не ходи с этим дурацким конским хвостом, не открывай свои оттопыренные уши! Глаза можно очень красиво покрасить. Да что там покрасить! Можно нарисовать, и будут глаза, как у Лоллобриджида. Одеться, тем более здесь, на «Мосфильме», вообще пустяки: спекулянты приносят, сотрудницы меряют прямо в уборных, стреляют десятку до новой полочки, выходят такими, что их не узнаешь! Но Люся была просто неисправима. Выкуривала за день пачку «Казбека», а то и полторы, рубила в глаза правду-матку, носила ковбойки из «Детского мира». Такая простая, как черный хлеб с солью. Любите и жалуйте.

Делать нечего – раз у Кривицкого начали раздуваться ноздри, спорить с ним бесполезно. Она затянулась папиросой, заложила за оттопыренное ухо выбившуюся прядь и пошла в «стекляшку». Ну, так и есть: Хрусталева. Кофе пьет. Она подошла, обнялись.

– Ты, Витя, живой? Мать твою! А мне тут страстей разных наговорили...

– Не верь.

– Да ладно, не верь! Ты мне лучше скажи, правда это или нет, что ты с Сенчуком прямо на съемках подрался?

– Мы с ним разошлись в понимании природы творчества.

Люся чуть не взвизгнула от восторга:

– Какого еще творчества! Бабу небось не поделили?

– Ну, хватит об этом, Люсьена. С кем ты сейчас снимаешь?

– С Кривицким снимаю. Стахановец наш. Одну фильму сдали, другую снимаем.

– Опять песни-пляски?

– Да, все для народа. Говно, в общем, Витя.

– А где не говно? Пойдем, я его поприветствую.

Федор Кривицкий сидел на том же кресле, только пепельница уже не дымилась, потому что ее минуту назад опустошили, а новая сигарета, забытая в углу режиссерского рта, погасла сама собой. Бублики тоже закончились, скорее всего, их потаскали во время перерыва. Хрусталеv вошел с распростертыми объятами.

– Ну что, подкаблучник? Работаешь?

Кривицкий выронил погасшую сигарету.

– Витюха! Да где ж ты, родной, пропадаешь?

– Кто? Я пропадаю? Ты, милый мой, даже и не удосужился сказать, что картину опять запускаешь. Так кто пропадает-то, а?

– К чертям замотался совсем! Но исправлюсь. Даю тебе слово: исправлюсь сегодня же. Я вот через часок закончу, и едем ко мне. Отметим. И Надю порадуем. Тихо, семейно: ты, я и она, то есть Люся. Вина надо взять. Бутылок пять хватит?

– Люся вина не пьет. Она у нас девушка капризная. Ее Бондарчук недавно на банкете пытался лучшим французским вином угостить, и то ведь не вышло! Одну водку хлещет большими стаканами!

Ассистентка, серенькая, как мышь, всунула голову между Хрусталевым и Кривицким.

– Федор Андреич, я извиняюсь. Актриса эта, Оксана Голубеева, ни за что уходить не хочет. Сидит, ревет, вас дожидается. Еще, говорит, разочек дайте ей попробоваться. С подругой сидит.

Кривицкий схватился за остатки волос обеими руками.

– Не дают мне работать, Витя! Не дают! То одно, то другое. Пленку привезли – так что ты думаешь? Полпартии брака! Назад отсылать? А где у меня гарантия, что другая без брака придет? Актрисы замучили! Одна беременная, у другой истерика, третья не в форме, а эти, которые на пробу приходят, от них вообще повеситься можно!

– Ты, Федя, заканчивай тут побыстрей, а я пойду твоих истеричек успокою, – с легкой заинтересованностью в голосе сказал Хрусталеv. – Мне, знаешь, не привыкать...

– Нет, ну, подожди! Так тоже нельзя. Меня за вампира же будут считать! Я сам разберусь. Где она, эта Голубеева?

Оксана Голубеева твердо решила никуда не уходить. До сегодняшнего дня ни разу в жизни не было, чтобы ее круглые колени, сверкающие из-под юбки, ее лучистые глаза, крутая челка и весь ее облик – девушки мягкой и одновременно решительной, веселой и все-таки очень серьезной, готовой к любви и при этом не шлюхи, – не было такого, чтобы все это вместе не бросало мужчин к ее слегка полным, но стройным ногам. Вот не было, нет и не будет. Увидев растерянного Кривицкого в сопровождении худошавого мужчины с лицом резким, но очень красивым и даже отдаленно напоминающим Маяковского, Оксана вскочила.

– Федор Андреич! Можно я еще раз? У меня этот переход знаете почему не получился? Ведь я от волнения! Больше нипочему!

Хрусталеv усмехнулся:

– Девушка, милая, все глупости в мире происходят исключительно от волнения! Поверьте моему грустному опыту. А как вас зовут, между прочим?

– Оксаной. А вас?

– Меня? Меня Виктором.

– Ах, очень приятно!

– Мне тоже приятно. Если вы, милая Оксана, располагаете временем, не согласитесь ли вы украсить собой наше скромное общество? Мы едем к Кривицкому в гости. Нас там заждались одна девушка. Прекрасная девушка Надя...

– Ой! Это чудесно! Конечно, поеду. Но я здесь с подругой...

– Подругу берем. Какая подруга? Вот эта? Конечно, берем!

На лице Кривицкого появилось отчаяние. Он знал Хрусталева не первый год и тут же почувствовал, что у Виктора поганое настроение, он хочет развлечься, а все остальное ему трин-трава. Как ехать сейчас к нему в гости? В такой вот компании? Да Надя такое устроит! Он незаметно дернул Хрусталева за рукав.

– Ты, Витя, сдурел? Жена на сносях, а я к ней с двумя... Ну, сам понимаешь...

– А мы для прикрытия Костю прихватим. Ты тут давай, сворачивай свою лавочку, а я к Константину сгоняю в общагу. Небошь еще глаз не продрал, алкаш старый!

До общежития Паршина было десять минут на машине. Студенты и аспиранты жили по двое, а Паршин – один. Комнату ему устроил Кривицкий по великому благу, когда Паршина выгнала из дому жена. Хрусталев честно считал его гениальным сценаристом. Да, может быть, и Кривицкий считал его гениальным сценаристом, но помалкивал. Сценарии Паршина были рассчитаны на каких-то *других* режиссеров. *Другие* режиссеры на «Мосфильме» не приживались. Год назад Паршин бросил пить, шептались даже, что он закодировался, но толком никто ничего не знал: сценарист умел держать язык за зубами. Один раз они с Хрусталевым поговорили по душам, но оба потом пожалели об этом. Хрусталев, во всяком случае, точно пожалел, потому что с той минуты, как он рассказал Паршину, что после школы почти год проработал в отцовском КБ, вытачивал детали для моделей военных самолетов и поэтому получил бронь, не попал на фронт, – с этой минуты ему стало казаться, что Паршин иногда смотрит на него с недоумением, а может, и неприязнью, хотя внешне они дружили, как прежде, и виделись часто. Один только раз Паршин пробормотал:

– Хорошо, Витька, что я тебя моложе.

– Почему хорошо?

– У меня никогда не было *твоего* выбора, – и спрятал глаза под очками.

– Выбор, между прочим, – взорвался тогда Хрусталев, – не был моим! Мать лежала после инфаркта. Ее это точно убило бы! А кроме того... – И он замолчал, сам испугался того, что пришло в голову.

– Что кроме того?

– А кроме того, – сказал Хрусталев, – мы все выбираем. Всегда. Между жизнью и смертью.

Паршин быстро, странно посмотрел на него, но промолчал.

Сейчас он был в своей комнате и, разумеется, спал. Хрусталев откинул одеяло.

– Подъем! Труба трубит! Вставай, сценарист, тебя ждет вся страна!

Паршин начал нашаривать очки, но так и не нашарил. Прищурился близорукими глазами.

– На тебя посмотреть, – усмехнулся Хрусталев, – так ты просто ангел. А в ангеле этом... Ну, ладно. Поехали.

Паршин нащупал рукой брюки, поспешно надел их.

– Куда нужно ехать?

– К Кривицкому, Костя. Не так у нас много с тобой вариантов. Мыться-бриться, одеваться! На улице жду, только ты побыстрее.

Кривицкий с Люсей, оказывается, уже успели отбыть на служебной машине. Ассистенка передала ему записку, написанную размашистым барским почерком Кривицкого, не признававшего ни одного знака препинания, кроме восклицательного: «Костя и Виктор! Где вас сволочи так долго носит! Еду с Люсей! Жратву и вино с водкой купим по дороге! Дома все есть можно и не покупать! Но нету спиртного а если купить одного спиртного Наденька сразу выгонит! Берите своих девок и приезжайте! Жму руку! Федор».

Глава 3

Дача режиссера Кривицкого стояла особняком в высоком сосновом бору. Когда красный «Москвич» Хрусталева затормозил у калитки, закатное солнце ярко освещало пестрые цветы на лужайке, золотило большие окна, а лестница, ведущая на террасу, казалась почти что янтарной. Оксана Голубеева птицей выпорхнула из машины.

– Боже мой! Как в раю!

– Где вы, там и рай, – галантно подхватил Паршин, делая вид, что хочет поцеловать ее в щеку, но не решается. – Ах, эта девушка-а-а-а! С ума меня свела-а-а-а! Разбила сердце мне-е-е! Па-а-акой взя-я-яла!

Паршин нажал кнопку звонка. Долго не открывали. В глазах Хрусталева зажглись огоньки.

– Никак нас пускать не хотят?

Открывшая им красавица с полным лицом и небрежно подколотыми русыми волосами, судя по размерам ее живота, со дня на день ждала ребенка. Белый передник, надетый поверх пестренького платья, вздымался чуть ли не до самого подбородка. Увидев актрис, особенно Голубееву, с фальшивой радостью просиявшую своими глазами и обнажившую зубы так сильно, что открылись бледно-розовые десны, красавица вдруг потемнела всем властным и бледным лицом.

– Вот, Наденька, они и приехали, – хлопотливо заговорил Кривицкий, выныривая из боковой комнаты. – А мы заждались. На дорогах – кошмар! Сюда не пускают, здесь – пробка, там – пробка... Знакомься.

– Очень рада, – еле разжимая губы, произнесла Наденька. – Проходите, пожалуйста. Мне еще повозиться придется.

Она сверкнула на мужа глазами и, плавно повернувшись, понесла свой живот к двери. Гости смутились. Кривицкий развел руками.

– Беременность, други. От беременности и не такое бывает. Некоторых, говорят, совсем узнать нельзя... Пойду, помогу. Вы уж тут не скучайте...

Паршин подмигнул Хрусталеву, и оба засмеялись.

– Садитесь, девушки, располагайтесь, – весело сказал Паршин. – Оксана! Садитесь ко мне на колени!

Он быстро опустился в кресло и хлопнул себя по коленке.

– Нет, лучше я книжечки здесь посмотрю, – ласково улыбаясь, сказала Оксана Голубеева и отошла к недавно приобретенному книжному шкафу с красивым названием «хельга» производства Германской Демократической Республики. – Какие прекрасные книги! И сколько!

Дача Кривицкого была обставлена по последней моде. Красные кресла удачно перекликались с ярко-синим ковром, застилавшим пространство под большим обеденным столом. В буфете сверкало чешское стекло, среди которого были с большим вкусом расставлены гдэ-эровские фарфоровые фигурки. Одна из них – фигуристка с нежно-голубоватыми волосами – изогнулась, стоя на одной ноге, а другую ногу, облаченную в изящный ботинок с коньком, подняла аж до виска. Радовали глаз и фигурки балерин, застывших с поднятыми над головой тоненькими руками и как-то особенно грациозно оттопыривших мизинцы, теннисистов в ярко-белых рубашках с красивыми ракетками в руках, собак с такими прекрасными умными мордами, что каждой хотелось дать кость.

Надя Кривицкая сидела в кухне на табуретке и листала неподъемную книгу «Домоводство», подаренную ей на свадьбу. На звук мужниных шагов никак не отреагировала.

– Солнышко мое, – угодливо сказал Кривицкий. – Ну, так получилось... Я к этим барышням вообще никакого отношения не имею. Сам первый раз вижу.

– Зачем тогда их привозить? – спросила жена. – Они проголодались? Столовая, что ли, закрыта?

– Ну, так получилось. А ты не волнуйся. Тебе разве можно сейчас волноваться?

– Да ладно, подлиза! Иди развлекай! А мне гони Люсю сюда! Она в сад пошла! Розы нюхает.

И пока Люся, извлеченная хозяином из сада, помогала Наде на кухне, а Голубеева, устроившись в кресле, болтая стройной полноватой ножкой, смотрела, как солнце садится за кроны, Константин Паршин, только что открывший зубами бутылку красного вина, рассказывал что-то Хрусталеву, который устало кивал головой.

– И что? Завернули? – спросил Хрусталева.

– Еще бы! И с треском! Камня на камне не оставили. Не может, говорят, комсомолец в наше время не обсуждать с любимой девушкой китайских коммунистов и не беспокоиться о счастье всего человечества!

– Ты забыл о перевыполнении плана, – ухмыльнулся Хрусталева. – Не может он не обсуждать перевыполнение плана.

– Не обсуждать, а петь, – поправила Люся, вышедшая из кухни с двумя салатами в руках. – Не петь он не может. У нас с Федей все вон поют, надрываются.

– Опять укусила! – сочно засмеялся Кривицкий. – Ведь я же все слышу! А что тут такого? Поют. Пусть поют! И я, дурак, пел. Когда был комсомольцем.

Оксана Голубеева кокетливо засмеялась:

– Верно, Федор Андреич! Вот я, например, восьмой год в комсомоле...

– Как это восьмой? – ахнула ее молчаливая подруга. – Откуда восьмой? Тебе же сейчас...

Костя Паршин торопливо перебил ее:

– Подставляем бокалы! Какие наши годы? Кто их подсчитывает? Я тому, кто их подсчитывает, лично, вот этими рабочими руками, все зубы вышибу! Девушки наши не прибавляют в возрасте, а убавляют, и красота их бессмертна, как красота Марины Влади!

– Видела я вашу Влади! – закуривая, вклинилась Люся. – Лицо – просто блин... Нет, Вить, я серьезно! Ее очень ловко снимают. А так, присмотреться – большой белый блин.

– Они у меня доиграются, – вдруг сказал Паршин и с грохотом поставил на стол опустошенную бутылку. – Я серьезно говорю: доиграются они у меня! Возьму да и напишу все как есть: приехал комсомолец на нашу ударную стройку, увидел подробности, сразу запил. Пил-пил, а потом поднялся на крышу и – вниз! Об асфальт! Все мозги разлетелись.

Хрусталева быстро посмотрел на Оксану, у которой высоко взлетели подрисованные брови, на ее молчаливую подругу, поймал укоризненный взгляд Кривицкого и под столом наступил Паршину на ногу.

– Пьем и закусываем! Пьем и закусываем! За прекрасную девушку Надю и того наследника или наследницу, которого или которую – этого мы пока не знаем – она вот-вот подарит нашему замечательному другу и художнику с большой буквы Феде! И потанцуем, наконец! Где у тебя, Феденька, эта пластинка с рок-н-роллом?

– Не пластинка, а копия на рентгеновском снимке, – пробормотал Кривицкий. – Где же я тебе пластинку возьму?

Поели салатов, выпили, Надя принесла сациви, дымящийся плов. Опять выпили, отведали плова. Стол постепенно становился похожим на пейзаж после боя. Белая скатерть краснела пятнами вина, на тарелках лежали обглоданные куриные кости, в пепельницах тускнел сигаретный пепел. Кривицкий поставил «пластинку», и дух негритянской свободы ворвался на эту красивую дачу. Оксана Голубеева, только что заново накрасившая губы, подхватила свою молчаливую подругу, и они пошли лихо выделять ногами стремительные круги и зигзаги. Надя Кривицкая, на лице у которой недвусмысленно читалось отношение к танцующим, внимательно смотрела на то, как полупрозрачная юбка Оксаны взлетает все выше, и выше, и выше,

и, кажется, скоро совсем улетит. Хрусталева, сильно выпивший и от этого еще больше помрачневший, поднялся, держа в руке доверху налитый бокал.

– Тост у меня, товарищи! Всем – тихо! У меня тост! Я поднимаю этот бокал за нашего дорогого хозяина! За тебя, Федя! За то, что любишь работать и работаешь на полную катушку! Ты, Федя, счастливый человек! Ты искренний человек! Тебе предлагают, и ты берешься, долго не раздумывая, и народ валом валит на твои фильмы, потому что народ тоже долго не раздумывает, и все, в конце концов, счастливы...

Тут Надя сняла белый фартук, открыла цветочный орнамент на простеньком платье, и все вдруг заметили каждый цветок, поскольку живот натянул платье так, что каждый цветок стал значительно больше, и громко спросила:

– Не стыдно вам, Виктор?

Хрусталева побледнел и поставил свой бокал обратно на скатерть.

– Не стыдно вам, да? Сидите в гостях, и мы вас угощаем, стараемся, пьете, простите, как лошадь, и вдруг такой тост? Вы хотите сказать, что Федины фильмы не для интеллигенции? Что все его фильмы на быдло рассчитаны? Поэтому быдло его так и любит? Что Федя бездарный, и только бездарность нужна простым людям?

– Да разве я... Надя! – сказал Хрусталева. – Откуда вы взяли все это? Я разве...

– Вы думаете, я *ваших* фильмов не видела? Все видела, не сомневайтесь! Все знаю! Но я ничегошеньки не поняла! Зачем, извините меня, девушка отдается человеку, за которого она замуж не собирается и которого она не любит? Из жалости, что ли? Из жалости можно вон кухню помыть, картошку почистить! Да, это из жалости! И что она, бедная, все выпивает? Почти в каждой сцене она выпивает! Да если так пить, и работать не сможешь! А, кстати, о чем она столько грустит? У меня, между прочим, высшее медицинское образование, а я так и не догадалась – о чем? Другие – нормальные – тоже не поняли! Вы не для нормальных людей это сделали! Поэтому к вам люди и не идут! А к Феде идут! Вы зачем к нам приехали? Баб своих повеселить захотели?

Кривицкий растерянно крикнул, и Надя опомнилась.

– Ой, мамочки! Что я сказала!

Оксана Голубеева закрыла лицо руками. Кривицкий осторожно обхватил жену за плечи и повел ее к двери. Через несколько минут он вернулся.

– Расстроилась, плачет. Я вас прошу: не принимайте близко к сердцу. Беременность, знаете... Других, говорят, просто и не узнать...

– Да ладно тебе, Федя, – вздохнул Хрусталева. – Все мы понимаем. Давай такси вызовем. Девушек нужно домой доставить. Им спать пора.

– А ваша машина? – Оксана Голубеева посмотрела на него большими глазами. – А вы что, не едете? Вы, Виктор, *меня* проводить не хотите?

– Пойдем посидим тут в буфете на станции, – негромко сказал ему Паршин. – Обсудим. Буфет круглосуточный.

Хрусталева театрально поклонился Оксане Голубеевой.

– Видишь, моя радость, как мы вкальваем? И днем, и ночью. Круглосуточно и без перерыва. Никакой личной жизни.

В станционном буфете, кроме Хрусталева и Паршина, сидели двое: растрепанная пьяная женщина и молодой человек, почти мальчик, похожий на нее чертами лица и, скорее всего, сын. Они тихо пили, не закусывая, и тихо спорили. Мать, судя по всему, о чем-то просила сына, а он отказывался.

Уже начинало светать, а Паршин с Хрусталевым, глядя друг на друга красными, воспаленными глазами, говорили и говорили. Оба чувствовали, что эта ночь с запахом левкоев, плывущим из привокзального палисадника, и этот заляпанный стол, и тарелка с солеными огурцами, от которых они понемногу откусывали и клали огрызки обратно в тарелку, а главное,

водка, с помощью которой разговор их постепенно приобретал серьезный смысл, – все это больше никогда не повторится, и нужно успеть, нужно договорить...

– Слушай, Витька! – И Паршин опять наливал. – Слушай! Ведь мы скоро сдохнем. У тебя хоть дочка останется, а кто у меня? Никого! И кто про нас вспомнит? Никто! Нет, ты слушай! Вчера я сценарий закончил. Роскошный! Я лучше его ничего не писал и не напишу! Никогда. Вот в чем дело. А ведь завернут! Ведь опять завернут! И все. И зачем я живу? Ну, ответь!

– Мне дашь почитать?

– Дам, конечно. Зачем? Его все равно завернут. Почитай!

К семи в буфет начали стекаться люди, и Паршин с Хрустальевым, тяжело поднявшись и по очереди посетив вонючую уборную, из крана которой скупо сочилась вода, вывалились на не остывшую за ночь платформу и подошли к красному «Москвичу».

– Ты ехать-то можешь? – спросил грустно Паршин.

– Садись, сам увидишь.

Глава 4

Кто из них предложил нагряться в эту квартиру, где было не продохнуть от табачного дыма и на диване, покрытом вытертым клетчатым пледом, играл на гитаре какой-то патлатый, с черными подглазьями, молодой человек, а набившиеся в комнату люди не думали расхотеться, хотя за окном уже слепило солнце и полная света Москва кипела трамваями, птицами, криками. Они не помнили, зачем они вдруг нагрязили в эту квартиру и послушали патлатого юношу, но они это сделали, потому что им не хотелось расставаться, и они уже сказали друг другу, что оба они гении и никто их толком не понимал и не поймет. А ближе к полудню они, опять-таки непонятно как, вдруг очутились на детской площадке, где из-за жары не было ни одного ребенка, и карусель была пуста, как город, оставленный жителями. День долго тянулся, они пили, пили... Их кто-то толкал, и они огрызались, и спали на лавочке в парке, и плакали.

Что было потом? Ничего. Темнота. Какие-то звуки. Вообще что-то странное.

Это происходило, кажется, во вторник. А в четверг Хрусталева лежал на своей тахте, морщился от мигрени и пил рассол, понимая, что на работу он просто-напросто не доедет, а надо лежать, ждать, пока его не отпустит мигрень. Было утро. Телефон, к которому он твердо решил не подходить, разрывался. Он разрывался так, словно был живым человеком, которому нужна срочная помощь. Хрусталева плюнул, завернулся в простыню и снял трубку.

В трубке рыдала Регина Марковна.

– Витя, ты? У нас тут такое... Костя Паршин из окна упал... Насмерть, Витя, насмерть! Послезавтра похороны.

Легкий и теплый дождик пошел с самого утра, и, когда гроб уже готовились опустить в могилу, дождь вдруг припустил посильней, от чего листва на деревьях, заждавшаяся этого дождя, сочно и ярко заблестела. Хрусталева сидел неподалеку ото всех на низенькой скамеечке у чужого, потускневшего от времени камня со стершейся надписью и тупо смотрел под ноги. Люся подошла, примостилась рядом и закурила.

– Не хочу я все эти речи слушать! Я знаю одно. Не мог Костя сам. Не верю я этому.

– Жена его здесь? – спросил Хрусталева.

– Ты что? Обалдел? Какая жена? Она давно замужем. Муж – дипломат. Они вроде в Турции или в Швейцарии...

Хрусталева затравленно посмотрел на нее и, ничего не ответив, пошел туда, где уже начали забрасывать новенький гроб комьями мокрой земли. Он остановился за спиной женщины, с которой его связывало столько, что даже большой черный платок, которым была укутана ее голова и плечи, не смог бы помешать ему узнать эту женщину в любой обстановке и при любом освещении. Она обернулась, заплаканная.

– А, ты! Где ты был? Здравствуй, Витя.

Он провел пальцем по ее мокрой щеке.

– Ты плачешь? Ах, боже мой, что это ты? Нельзя тебе плакать, морщины появятся!

– Да, плачу! – сказала она. – Горько плачу! Я знала его, я пришла с ним проститься!

Тут Хрусталева заметил вихрастого парня, который бросал сейчас землю туда – в глубокую яму – и плакал навзрыд. Он плакал сильнее, чем плакала Инга, и, всмотревшись в его отчаянное, искаженное лицо, Хрусталева вдруг подумал, что это дурацкий предрассудок: считать, что плакать можно только женщине, а для мужчины это унижительно. Напротив, слезы вихрастого парня словно вобрали в себя то, от чего сейчас разламывалась грудь и у самого Хрусталева, они взяли на себя его боль, как лошадь, на спине которой болтается один раненый, останавливается, чтобы на нее взвалили еще одного.

Поминки устроили в «стекляшке», собралось много народу. Инга не пришла, и Хрусталева стало досадно, что она не пришла на поминки, а сразу куда-то исчезла, как будто растаяла.

Он старался не думать о ней, но иногда, особенно когда душа вдруг начинала ныть – а сегодня она не просто ныла, она разламывалась, как будто это и не душа вовсе (субстанция невидимая), а коренной зуб, – сегодня он не мог справиться с собой, и мысли об Инге, ярость, горечь, как будто она все равно виновата (во всем виновата, и только она!), мешали ему еще больше, чем прежде.

Стол был накрыт с особенной пышностью, водки и коньяку было достаточно, и собравшиеся много и жадно пили, отодвигая в своем сознании то страшное, что стало причиной этого пиршества. Через час невыносимо захотелось поговорить о чем-то простом, деловом, может, даже слегка пошутить. Регина Марковна, на мощной груди которой почти лопалось черное шелковое платье, негромко обсуждала с Хрустальевым просьбу режиссера снять снизу надвигающийся поезд.

– Но он говорит: «Пусть сперва Хрусталева в деталях расскажет, как он это сделает».

– Не его собачье дело. Сказал сниму, значит, сниму. Пусть ящик с коньяком готовит. «Арат», пять звездочек.

Геннадий Будник, в прекрасном темно-сером костюме, ударил вилкой по рюмке и поднялся, намереваясь сказать тост.

– Друзья мои! – мягким, но мужественным голосом начал он. – Я бы хотел вас немного повеселить. Костя был веселым человеком, и ему не понравилось бы, что на его поминках мы ни разу не улыбнулись, вспоминая его. Вот я и хочу рассказать. Иду я однажды по коридору и вижу: Костя сидит на подоконнике. Грустный такой, только что не плачет. Я подошел. «Что ты, – спрашиваю, – такой грустный? Какая муха тебя укусила?»

– Врешь! – неожиданно перебил его вихрастый парень, который недавно так плакал на кладбище.

У Будника вытянулось лицо:

– Позвольте... Что значит – я вру? А вы кто такой?

– Егор Мячин, режиссер. Брехать надо меньше.

Толстая и обрюзгшая Регина Марковна вскочила с легкостью четырнадцатилетней девочки.

– Все! Все! Перестаньте! Давайте за Костю!

– Подождите, Регина Марковна, – раздувая ноздри, прошипел Мячин, – я не позволю, чтобы этот... Чудак с буквы «м»... Чтобы он тут шутил!

– Кого это ты обзываешь? Меня? – У Будника шея вдруг стала малиновой.

Егор Мячин, только что отрекомендовавшийся режиссером, схватил тарелку с недоеденным салатом, размахнулся ею и запустил в Будника. Трое мужчин, сидевших рядом, бросились на Мячина и поволокли его к выходу. Будник брезгливо стряхнул с пиджака вареное яйцо, разрезанное пополам, потом попытался отчистить салфеткой плевки майонеза.

– Я на сумасшедших не реагирую, – голосом, внезапно потерявшим мужественность, крикнул он вслед увлакиваемому в коридор Мячину. – Твое место не на «Мосфильме», а в дурдоме!

– На «Мосфильме»! На «Мосфильме»! – уже из коридора проорал Мячин. – Только ты у меня никогда сниматься не будешь!

Регина Марковна, огненная, как свекла, догнала Мячина уже на улице. Он сидел на лавочке, а трое, только что волоком вытащившие строптивного режиссера из «стекляшки», стояли рядом и, судя по их лицам, сторожили его.

– Ну что, ненормальный?! – всплескивая руками, застонала Регина Марковна. – Иди лучше в жопу, Егор! Зачем ты устроил скандал? Ты разве на свадьбу пришел? Скандалы бывают на свадьбах, а здесь ведь поминки!

– Регина Марковна! – невпопад ответил Мячин. – Я вам слово даю: я сниму фильм по последнему сценарию Кости Паршина. Вы меня слышите, Регина Марковна?

– Иди, иди в жопу, Егор! А, вон Хрусталеv появился! Ему вот и дай свое слово! Я вами по горло сыта!

Высоко подняв свои мучнистые руки, она заколола волосы на затылке и, бурно жестикулируя, заспешила обратно в «стекляшку».

Хрусталеv опустилсЯ на скамейку рядом с Мячиным и закурил.

– Слушай, ты тут про Костин сценарий говорил... Он у тебя есть?

– Ну, есть. А тебе что за дело?

– Дай мне почитать его, а?

– А солнышко с неба не хочешь? **Ты** с ним пил два дня? **Ты** был с ним? Ты разве не знал, что ему пить нельзя! Ни грамма, ни капли! Не знал? Говори! Тогда что же ты его спаивал, сволочь?!

Хрусталеv опустил глаза.

– Не стану я, Мячин, с тобой сейчас драться. Так что и не надейся.

Этого Мячин не ожидал. Руки чесались – врезать кому-нибудь из паршинских прежних дружков, предателей и карьеристов. Но Хрусталеv уже уходил, спокойный, непроницаемый, как раз из тех мужчин, которые нравятся женщинам. Говорят, что если женщину бросает такой, как Хрусталеv, она долго не может прийти в себя.

В «стекляшку» он не вернулся: там, кажется, напрочь забыли о Косте, пошли даже шутки, остроты, мужчины слегка уже лапали женщин, а женщины, открывшие пудреницы, вытирали следы своих траурных слез. Хрусталеv сел в машину и поехал домой. Дома были открыты окна, и все поверхности – стол, ручки кресла и особенно пол – нагрелись за день и казались живыми.

«Вот этого ведь я и не понимаю, – подумал Хрусталеv. – Что значит «живой» и что значит «мертвый»? Позавчера Паршин был живым, мы пили коньяк на качелях. Я помню. Еще там была карусель. И он мне орал «Прокати меня! Живо! Получишь на чай! Я не жадный, увидишь!» И где он теперь?»

Опять телефон! Вот звонит и звонит! И что им всем надо? Чертыхнувшись, Хрусталеv поднял трубку, услышал в ней голос жены, – низкий, ломкий, немного замедленный и осторожный.

Жена была бывшей, а голос – прежний.

– Слушай, Витя, поддержи у себя Аську три дня. Можешь?

– А ты что? На съемки?

– Да если б на съемки! Какие тут съемки? Никто не зовет! Я в больницу ложусь.

– Ой, ой! Неужели аборт? Дорогая, я сто раз пытался тебе объяснить: продаются такие резиновые штучки, которые контролируют все извержения страсти. А стоят недорого.

– Заткнись, Витя, а? Короче: ты Аську берешь?

– Конечно, беру. Хоть ты и считаешь, моя дорогая, что среди всех существующих на свете отцов отец моей дочери самый говенный, но я ее не только беру, я просто счастлив, что ты предоставляешь мне эту возможность!

– Тогда завтра в восемь. Ты жди у подъезда, и мы с Аской спустимся.

Бросила трубку. Ни вам «до свиданья», ни даже «спасибо». Любимая женщина, мать моей дочери.

Глава 5

Утром он ждал их у подъезда на Шаболовской ровно в восемь, как договаривались. Вот в этом доме они прожили вместе целых шесть лет. Сюда он, совсем молодой, глупый, гордый, принес из роддома горячий комочек.

В роддоме сказали:

– Сегодня так скользко! Смотрите, куда ноги ставите, папа.

Наверное, они были счастливы. Были? А может, и нет. Инга долго болела: грудница, молочница, что-то еще. Аська орала по ночам, соседка, теперь уже покойная, – стерва была, каких не сыщешь, – стучала им в стенку ободранной шваброй. Почему же у него все еще перехватывает горло, когда он вдруг вспоминает, как катал Аську на санках? Вот в этом дворе. Ей и трех тогда не было. Прекрасные были бы кадры, отличные: и рыжие Аськины кудри, и солнце, и санки с привязанной к ним темно-синей, давно уже вытертой, круглой подушечкой. Ну, ладно, забыли.

Вышли, наконец. Инга без косметики, но все равно красивая, с высоко забранными волосами. Ему всегда нравилось, когда она вот так высоко подбирала свои медные волосы. Сейчас-то ему безразлично, конечно. Аську Хрусталева не видел недели три. Кажется, она так и останется рыжей. В тринадцать лет человек уже не меняется. За эти три недели его дочь успела, кажется, еще больше вымахать. По виду – девица, а мордочка – детская. Он обхватил ее руками и поцеловал в переносицу. На Ингу старался даже не смотреть. Ей нужно торопиться на аборт.

– Витя, я опаздываю, – сказала бывшая жена. – Подвези меня, а? Вам все равно по дороге.

– С огромным моим удовольствием! – расшаркнулся он. – Как же не подвезти? Ведь ты не к портнихе спешишь. На аборт!

– Ася, садись в машину, – негромко приказала Инга. – Вы с папой меня подвезете.

– Не ругайтесь, пожалуйста, – попросила дочь и посмотрела на них исподлобья точно так же, как смотрел иногда сам Хрусталева. – Я вас очень прошу. Папа, не задевай маму, она и так жутко переживает. Думаешь, это просто?

Хрусталева обреченно развел руками:

– Ну, если ты находишь нужным посвящать ребенка даже в эти подробности...

У Инги сверкнули глаза:

– А что, мне ей врать?

– Между тем, чтобы врать, моя радость, и тем, чтобы выворачивать наружу все кишки – дистанция огромного размера. Это тебе не приходило в голову?

Она промолчала. Аська глубоко, укоризненно вздохнула. Подъехали к больнице через десять минут.

– Я, кажется, вовремя, – жена посмотрела на часы и быстро поцеловала дочку в лоб. Ася потерлась щекой о ее руку.

– Когда тебя забрать, дорогая? – спросил Хрусталева. – Послезавтра?

– Не нужно меня забирать!

– Нет, нужно. Я тебя доставил, я тебя и заберу.

Инга махнула рукой и, отвернувшись, почти побежала к воротам больницы.

– Папа, ну что ты ее спрашиваешь? – прошептала дочь. – Она же сейчас не в себе. В пятницу ее отпустят. Сказали, что после шести.

– В шесть часов в пятницу мы будем здесь, дорогая! – крикнул он вслед убегающей Инге. – Такси не бери! Мы тебя будем ждать.

Поехали на «Мосфильм», позавтракали с Аськой в «стекляшке». Гоша в накрахмаленной рубашке и черной бабочке сварил ему кофе.

– А здесь хорошо. Развлекательно, – сказала его дочь, уминая пельмени со сметаной. – Не то что у нас в коммуналке. Начнешь суп варить, обязательно кто-нибудь стоит над кастрюлей и пялится, пялится...

Работы сегодня никакой не было. Спать хотелось смертельно. Вернулись домой. Он растянулся на тахте и вдруг провалился. Не почувствовал, как Аська заботливо потрогала ему лоб, потом укрыла пледом. Спал крепко, как убитый, но недолго, через час открыл глаза. Аська, длинненькая и худая, похожая на олененка, вытирала пыль с книг своим носовым платком и делала это бесшумно и мягко, боялась его разбудить. В кого она только пошла?

Он с хрустом потянулся и негромко откашлялся.

– Не спишь? – оглянулась она. – Папа, я вот что хотела спросить. Мама сказала, ты потерял друга?

Хрусталева поразило то, как она это сформулировала. Именно так: «потерял друга».

– Я его, кажется, помню, – продолжила она. – Дядя Костя, да? Вы с ним много пили.

– Это тебе мама сказала? – разозлился он. – А она не сказала тебе, что дядя Костя был лучшим в этой стране сценаристом?

В ее глазах появилось виноватое выражение.

– Я, наверное, не видела ни одного его фильма...

– А как ты могла видеть? Один был отличный сценарий, отличный! Отдали крестину-режиссеру, тот все переврал, перепортил, Паршин сразу свою фамилию убрал из титров. Потом был другой фильм, на заказ, про героев пятилеток. Сняли. Смотреть невозможно: тошнит. Костя опять свою фамилию убрал. Вот так и поработал на благо отечественной кинематографии!

– Жалко, папочка, – комкая пыльный носовой платок, пробормотала она. – Жил-жил человек, и ничего от него не осталось...

– Слушай, хочешь сейчас сгоняем на «Мосфильм», кино какое-нибудь посмотрим? – пробормотал Хрусталева.

Она даже подпрыгнула от счастья:

– Конечно, хочу! Просто очень!

Он пропустил ее в дверь и, пока искал ключи в кармане, окинул Аську взглядом оператора: будет лучше, чем Инга, лицо у нее одухотвореннее, нежнее. Такие легко и приятно снимать.

В маленьком зале на «Мосфильме», кроме них, никого не было. Хрусталева попросил, чтобы прокрутили дипломную работу Егора Мячина. Мысленно он уже подготовил себя к тому, что Мячин должен оказаться полным бездарем. Но фильм был прекрасным.

Аська, бедная, ничего не поняла. Ей подавай «Трех мушкетеров»: миледи, подвески, усы и рапиры. Еще «Человека-амфибию» можно. Там тоже красиво: Вергинская, море. А тут медленно плыл и плыл бумажный кораблик по весеннему ручью, плыл и плыл, тыкаясь в другие бумажные кораблики, в мелкие кусочки асфальта, веточку дерева, и от этого медленного его движения не хотелось отрываться, потому что бумажный кораблик говорил с твоей душой. Разумеется, это и было режиссерской задачей, но удивительно, что с такой трудной задачей этот парень справился. Бывают, оказывается, чудеса. Хрусталева курил и смотрел на экран, Аська терла глаза и мучилась. Наконец зажегся свет.

– Папа! – простонала она. – Скучища какая!

– Не понравилось, да? – отозвался он почти с облегчением. – Ну, потерпи еще немного. Пойдем-ка, поищем его.

– Да кого?

– Ну, Мячина этого. Он это сделал.

В общежитии «Мосфильма» Мячина не оказалось. Двухместная комната, в которой, как сообщили Хрусталева, живут Егор Мячин и Улугбек Музафаров, была переполнена молодыми

узбеками в ватных халатах, которые расселись вокруг казана с пловом, плотно притиснутые друг к другу и сильно разгоряченные от этого.

– Егор Мячин когда вернется? – спросил Хрусталева, без стука открыв дверь.

Улугбек Музафаров встал и солидно представился.

– Я с ним тут живу. А это друзья. День рождения справляем. Егор тут не был. Будет завтра.

Хрусталева скрипнул зубами.

– Ч-ч-черт! Он мне обещал сценарий один дать почитать. А завтра я сам жутко занят.

В темных глазах Улугбека мелькнуло сострадание.

– Зачем завтра ждать? Сегодня бери, да. Один здесь сценарий. Егор с ним так носится...

В матрац его прячет. Вот этот, наверное.

Он приподнял матрац на аккуратно застеленной кровати и вытащил пачку листов.

– Ты друг его тоже, да? И я его друг. Бери и читай, да. Вернется Егор, я все объясню.

Аська спала и посапывала во сне, напоминая себя саму, маленькую, которая никогда не мешала им с Ингой любить друг друга или ругаться до хрипа, до Ингиных сдавленных, ломких рыданий, которых он сам стал немного бояться. А Аська не слышала, Аська спала – плод, как говорится, горячей любви, ребенок их страсти, их нежности, боли, поскольку всегда была боль, была ревность, – она никогда не мешала, спала, и только ее удивленное личико во сне иногда становилось печальным. Хрусталева сидел на подоконнике, и московская ночь, сияя всеми своими звездами, вливалась в комнату запахом цветов и деревьев. К шести он закончил читать. Через час разбудил Асю.

– Вставай! Мы идем в зоопарк!

– В какой зоопарк?

– Я обещал сводить тебя в зоопарк.

– Когда обещал? Мне же пять тогда было!

– И что? Раз отец обещал... Отец тебя в жизни ни в чем не обманет! Вставай и идем в зоопарк!

Ася начала с растерянной улыбкой вылезать из-под одеяла, и тут же кто-то яростно зазвонил им в дверь. Потом застучал и, конечно, ногами. Так можно и дверь разнести, она не железная все-таки. Хрусталева быстро собрал листки с подоконника и спрятал их под Асину подушку. Разъяренный, не похожий на себя Егор Мячин ворвался в комнату, обшаривая ее безумным, однако трезвым взглядом.

– Где сценарий, Хрусталева? Я тебя русским языком спрашиваю: где сценарий?

– Послушай, зачем тебе этот сценарий? Ты же дебютант. Сам посуди: кто даст тебе *это* снимать? Никто и никогда. Поверь слову старого матерого волка.

Ася осторожно поправила свою подушку, из-под которой предательски высунулся машинописный листок.

– А-а! Вот он где! Я еще пересчитаю, все ли здесь страницы!

И Мячин действительно начал пересчитывать, брызгая слюной и чертыхаясь.

– Ну-ну, при ребенке! – сморщился Хрусталева. – Послушай, нельзя ли скромнее? Я тебе в который раз говорю: никто не даст тебе снимать по этому сценарию. Никто и никогда. Утри свои дебютантские сопли и успокойся.

– Никто мне не даст? А это ты видел?

И Мячин развернул перед лицом Хрусталева какую-то бумажку. Нет, не бумажку. Это была заляпанная пионерская грамота, поперек которой чернела корявая строчка, написанная Паршиным, пятый день не существующим на свете:

«Работать с моим последним сценарием я разрешаю только одному человеку: режиссеру Егору Мячину». Этот корявый почерк, в котором «а» не отличалось от «о», Хрусталева знал не хуже своего собственного.

Сначала он удивленно приподнял брови, и вдруг расхохотался.

– Вот это дела! Посмотри-ка сюда!

Он раскрыл толстую книжку и вытащил оттуда еще одну заляпанную пионерскую грамоту. Поперек ее было написано тем же самым корявым почерком: «Операторскую работу в экранизации моего сценария я разрешаю только одному человеку: оператору Виктору Хрусталеву».

Если бы Паршин *существовал* на свете, а не лежал в могиле, то все это было бы очень смешно. И грамоты, и то, что он написал. Наверное, был слегка пьян: жуткий почерк. Все вместе немножко похоже на розыгрыш, на шутку водителя или водитой. Но Паршина нет и не будет, он мертв.

С минуту они оба молчали, не глядя друг на друга. Потом Мячин старательно расправил свою грамоту, сложил ее вчетверо и начал запихивать в карман.

– Я с тобой, Хрусталева, все равно не буду работать. Ты же урод. Это невооруженным глазом видно.

– Мало ли что видно «невооруженным глазом»! А ты его вооружи! Со мной невозможно работать? А я вот вчера твой диплом посмотрел. Вон Аська не даст мне соврать. И, знаешь, ведь очень неплохо! Вернее сказать: хорошо!

– Не врешь?

– С чего мне вдруг врать? Я даже подумал: «А ну как он гений?»

Мальчишеское лицо Мячина осветилось, как будто под кожей зажгли фонарик.

– Тогда это надо отметить! Мне не говорили о том, что я гений. Ты – первый. Хотя иногда сам я подозревал...

Хрусталева холодно посмотрел на него.

– Мы сейчас с этой девушкой очень торопимся в зоопарк. Нас ждет там большой страшный лев и два крокодила. А вечером – пожалуйста. В шашлычной. Сойдет?

– Часов, что ли, в шесть?

– Зачем же так рано? Давай лучше в восемь.

Мячин тут же посуровел.

– Ну, в восемь так в восемь. Чем позже, тем лучше.

Аська была счастлива. Они переходили от клетки к клетке, из которых прямо в глаза им глядели грязные ободранные звери, странно напоминающие тех фронтовиков, которые все реже и реже попадались теперь в электричках, прося дать им на водку, и так же смотрели на тех, у кого они просили, злобными и усталыми глазами. Но дочь была счастлива. Так, во всяком случае, казалось Хрусталева, пока она вдруг не сказала:

– Их всех нужно выпустить, папа. Они же измучились.

– Прости меня, Аська. Я думал доставить тебе удовольствие.

– А ты и доставил. Но не удовольствие. Есть вещи важнее. Зверям тоже нужно, чтоб их пожалели. А я их жалею.

Нет, она точно не в Ингу пошла! Но и не в него. В бабушку свою, наверное. В его покойную маму.

В половине восьмого, приняв душ и переодевшись, они поехали в шашлычную. Шашлычная была своего рода конкуренткой «стекляшки», но, поскольку «стекляшка» открывалась в восемь утра и закрывалась в восемь вечера, а шашлычная открывалась в полдень, зато и работала до полуночи, два эти достойных заведения пользовались почти одинаковой любовью со стороны работников «Мосфильма». Опять здесь все те же грузины. Поют «Сулико». Какой-то художник, вдрызг пьяный, набрасывает карандашный портрет сидящей напротив девицы, которая строит ему томные глазки. Мячин уже занял столик и ждал их с заметным волнением. Заказали три порции шашлыка, бутылку водки и лимонаду для Аси. Через пятнадцать минут на эстраде появилась Дина. Ну, все. Так и знал. Какая-то в этом есть непристойность, когда ты

смотришь на женщину, вроде бы не имеющую к тебе больше никакого отношения, и при этом помнишь, какая она внутри, где у нее родинки... Одна родинка у нее, кстати, почти незаметна, она прячется в мягких черных волосках в самом низу живота...

– Смотри, Мячин, какая певица, – сказал он, играя желваками. – Ну, прямо для «Националя»!

Мячин рассеянно посмотрел на Дину и тут же отвернулся.

– Да я ее видел уже! Пантера. Мне такие не нравятся. Слушай, ты серьезно считаешь, что мы с тобой можем снять этот фильм?

– Какая тебе разница, что я считаю? Дело не в том, что я считаю, а в том, что ты – дебютант. Это раз. И еще в том, что сценарий должен получить «добро». Это два. Вернее так: сценарий должен получить «добро». Это раз. А ты – дебютант. Это два.

Шашлык был удачным, ни один кусочек не подгорел. Разговаривая, они незаметно выпили всю водку, осталось только немного красного вина в кувшинчике.

– Папа, закажи мне еще лимонаду, я пить хочу! – попросила Ася.

– Пей на здоровье! – И Хрусталеv плеснул ей в стакан красного вина.

– Ты что? Я не буду! Мне же тринадцать лет!

– И что? Раз отец разрешает, так пей. Попробовать можно.

Она вдруг насупилась.

– Не буду. И больше меня не проси.

Егор одобрительно закивал головой:

– Не девочка, а партизан!

– Что-что ты сказал? – И вдруг Хрусталеv поперхнулся.

– А что я сказал? «Партизан» я сказал. Не девочка, а партизан. Вот и все.

– Да нет, ты не понял! Кто у нас директор «Мосфильма»? – Хрусталеv скорчил строгую мину, сдвинул брови, а левый уголок рта немного приподнял. – Узнал? Вот именно: Пронин! А Пронин-то ведь партизан!

Тут Мячин вскочил.

– Да, верно! Ты эти его мемуары читал?

– Да кто их читал? Их прочесть невозможно! Два тома вранья! Но зацепка! Зацепка, Егор! Где у Кости действие происходит? В партизанском отряде, так? Так. Кто главный герой? Партизан. Значит, если вдолбить Пронину, что это его сраные сочинения навеяли Косте сюжет, он может «добро» дать!

– Но мать-то ведь эту придется цитировать?

– Ну, и процитируем! Завтра пойду в магазин, куплю оба тома и буду цитировать.

– А как мы к нему попадем, к самому-то? К нему не пускают.

– Измором возьмем, вот и все. С двенадцати ты попотеешь в приемной, а с трех я сменю.

В уборную выйдет, тут мы и...

– Папа, – Аська легонько потянула его за рукав. – Нам с тобой в шесть нужно маму забрать.

– Ах, да! Нужно маму забрать. Тогда я с двенадцати лучше, а ты, Егор, с трех.

Подбросили Мячина до общежития, крепко пожали друг другу руки. Аська сказала:

– Вы, папа, похожи на *двух* мушкетеров.

Глава 6

Ася еще спала, когда Хрусталева, постучавшись, вошел в приемную директора «Мосфильма» Семена Васильевича Пронина. Секретарша вскинула выщипанные бровки.

– Вам, товарищ Хрусталева, разве назначено?

– Нет, мне не назначено, я подожду.

Секретарша пожала плечами.

– Какой вы, однако, упрямый. Товарищ Пронин не примет вас без записи.

– А я подожду. Ведь я вам не мешаю?

– Да мне что? Хотите – сидите.

Хрусталева просидел ровно два часа. За дверью гудел голос Пронина, изредка прерываемый робким мышинным писком. Наконец выскочил какой-то щуплый и маленький, с потрепаным портфелем под мышкой и, не взглянув ни на Хрусталева, ни на секретаршу, засеменил к двери. Через пять минут после этого на пороге вырос сам Пронин, суровый, со слегка приподнятым левым уголком рта, богатырского сложения человек, на крепком лице которого только фиолетовые червячки, расположившиеся вокруг большого носа, говорили о том, что у директора «Мосфильма» скачет кровяное давление. Не обращая внимания на Хрусталева, быстро пересек приемную. Хрусталева бросился за ним. В коридоре было пусто. Пронин торопился в уборную.

– Семен Васильич! Я только на пару минут!

Пронин досадливо отмахнулся и, не оглянувшись, скрылся в уборной. Хрусталева выждал то время, которое нужно трезвому и серьезному человеку на то, чтобы расстегнуть ширинку, и вошел следом. Пронин стоял над писсуаром. Хрусталева пошаркал ногами и покашлял.

– Семен Васильич, я бы вас не стал по пустякам беспокоить, но тут вот сценарий покойного Паршина...

При слове «покойного» спина Пронина слегка напряглась.

– Так вот: есть сценарий покойного Паршина, – с нажимом повторил Хрусталева, – и действие в этом сценарии навеяно вашими воспоминаниями. Помните, у вас там есть эпизод про мальчишку, который попадает к партизанам?

Пронин деловито застегнул ширинку, быстро сполоснул руки.

– Товарищ Пронин, – уже с нескрываемой злобой сказал Хрусталева. – Вы меня разве не слышите? Или, не дай бог, даже не видите?

Пронин скользнул по нему равнодушным взглядом и припустился обратно к своему кабинету. Теперь он шел быстро, почти бежал, и Хрусталева показалось, что эта внезапная скорость говорит о том, что ему все еще неприятно слово «покойный» и он не хочет иметь к сценарию «покойного» Паршина никакого отношения.

Мячину нужен был костюм. В крайнем случае пиджак. Нельзя же было идти на прием к директору в одной рубашке или в заношенном свитере. Костюма у Мячина не было, но был близкий друг – Александр Пичугин, которого все звали Санчей. Пичугин работал в хорошем ателье, сам шил как бог и никогда не отказывал «своим» в том, чтобы на день-другой одолжить им пиджак или даже костюм. Егор ворвался в ателье ураганом.

– Санча! Выручай! У меня встреча с директором! Мне нужен пиджак! Вообще хорошо бы костюм... Сорок восьмой размер, но плечи лучше пятидесятый.

У Александра Пичугина были мягкие, немного женственные движения, длинные ресницы и насмешливая, хотя всегда почему-то грустная улыбка.

– Я-то тебя выручу, Егорушка. А ты вот меня все только обещаешь взять художником на «Мосфильм». Придется мне здесь прозябать...

– Ну, слово даю! Вот запустим картину, ты сразу приступишь!

И тут он осекся. Девушка, вошедшая в ателье, напоминала русалку. У нее были светло-зеленые глаза. Мячин не представлял себе, что человеческие глаза могут быть такого цвета. Но дело не только в глазах. Ее облик, немного чуждый всему миру, его суете, ссорам, склокам, тревогам, как будто она родилась из шумящей, морской нежной пены, прожег душу Мячина. Рассудок его помутился.

– Марьяна, сейчас! – сказал ей Пичугин, как близкой знакомой.

– Скорее, пожалуйста! Ты знаешь ведь, Санча, что я тороплюсь.

И голос у нее был необыкновенный. Принято, конечно, сравнивать женские голоса со скрипкой, соловьем или арфой. Но ее голос ее был похож на подснежник. Слегка глуховатый и хрупкий, мерцающий.

– Девушка, как вас зовут? – хрипнул он, забыв, что Санча только что назвал ее Марьяной.

– Марьяна. – Она улыбнулась.

– А, верно! Марьяна. Ведь он же сказал. Послушайте, Марьяна...

Она отвернулась, и легкая досада мелькнула в ее зеленых глазах.

– Я понимаю, понимаю! – заторопился Егор. – Я понимаю, что к вам все время пристают, и знакомятся, и просят телефончик, и все, в общем, такое! Но я не такой. Я в жизни ни с кем ни разу не познакомился в ателье. Вот слово даю вам! Ни разу!

Пичугин вынес какой-то сверток и протянул его русалке. Та кивнула головой и вышла на улицу. Мячин бросился за ней.

– Марьяна! – бормотал он, забегая то с левой, то с правой стороны и пытаясь заглянуть ей в лицо. – Марьяна! Только не уходите! Не оставляйте меня так! Я вас все равно найду. Я, кажется, вас полюбил. Вы слышите? Я вас люблю!

Она искоса взглянула на него, и та же досада, легкая и деликатная, словно ей неловко, что он так глупо ведет себя, опять промелькнула в зеленых глазах.

– Я сейчас скажу это всем! Пусть все меня слышат!

И с размаху упал на колени:

– Люди добрые! Я люблю эту девушку!

Она укоризненно покачала головой, шаги ее стали быстрее. На Мячина оглядывались с раздражением. Он вскочил и побежал ее догонять. Каким-то невероятным образом Марьяна вдруг вспрыгнула на подножку остановившегося троллейбуса перед самым его носом. Двери захлопнулись, и троллейбус уплыл. Он бросился обратно в ателье.

– Санча! Кто она?

– Я тебе не советую связываться, – добродушно отозвался Пичугин, внимательно рассматривая какой-то модный журнал. – Нарвешься, Егорушка. У нее, между прочим, брат – боксер.

– Какой еще брат?

– Что значит: какой? Ну, я ее брат.

– А что же ты раньше молчал, паразит?

– Но ты ведь не спрашивал.

– А! Так даже легче. Теперь-то я знаю, что делать.

Это, скорее всего, был гипноз. Да, это было колдовство, наваждение, но оно уже произошло, оно случилось, и сейчас ему было не до «Мосфильма», не до сценария, ни до чего. Краешком мозга Мячин помнил, что должен подменить Хрусталева в приемной у Пронина, но было не до Хрусталева. Нужно было действовать решительно, потому что важнее этих зеленых глаз и этого хрупкого мерцающего голоса не было ничего на свете.

– Санча! Дай мне пиджак. Шевиотовый. Я завтра верну.

Пичугин улыбнулся своей насмешливой и горькой улыбкой.

– Бери шевиотовый. Только до завтра.

В общежитии, не обращая внимания на оторопевшего Улугбека Мазафарова, он вымылся в душе, из которого уже третью неделю шла только холодная вода, тщательно причесался, надел шевиотовый пиджак и, отчаянно понравившись самому себе в зеркале, вышел на улицу. Теперь вот цветы еще нужно купить. Цветы, да. И торт. С тортом в одной руке и букетом в другой он не стал дожидаться скрипучего лифта и соколом взлетел на четвертый этаж. Он знал, что в этом доме живет Пичугин. И знал, что у Пичугина есть бабушка и сестра. Но кто мог подумать, что эта сестра... Вот, значит, их дверь. Ну, что же. Прекрасно. Дверь ему открыла сама Марьяна, босая, в домашнем халате, с распушенными по плечам мокрыми волосами. Так она еще больше напоминала русалку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.